Теоретические предпосылки непарадигматической лингвистики

1. Существует ли никем не описанный пласт языка?

Всякий, кто имеет дело, например, со славянскими языками или даже просто с русским языком, не может не заметить, что подавляющее большинство слов так называемого «коммуникативного фонда» состоит из мелких частичек, видимо, комбинирующихся в соответствии с некоей грамматикой порядка, представленных почти на всем пространстве Terra Slavica, имеющих одно определимое значение в изолированном виде и совсем иное значение в зависимости от типа их комбинаций. Это, например, ли, входящее в ряд: и + ли, а + ли, то + ли, у + же + ли и т.д. Это также и кь, входящее в ряд: кь + то, кь + /ь, + кь + то и т.д. Примеры эти можно умножать, почти играя в какую-то игру. Так, // входит в ряд: и + же, и + ли, и + то, и + но, а а входит в ряд: а + же, о + по, а + ж + но и т.д. Создается впечатление чего-то близкого к детским играм вроде кубиков, конструктора или даже калейдоскопа, о чем уже мы писали в Предисловии.

Если обратиться к пространству славянского континуума, то легко увидеть, что большинство таких частичек и / или их комплексов совпадает в славянских языках либо полностью, либо легко пересчитывается по правилам фонетики. Но при этом – от языка к языку – они могут различаться функционально. Они могут различаться по степени принадлежности к языку литературному, к диалекту, к языку жаргонному, то есть быть фактом литературного языка, фактом того или иного диалекта, фактом просторечия. Они могут быть графически контактными в одном языке и дистантными – в другом. Однако несомненно то, что внутри славянского языкового континуума существует практически единый набор таких простейших частичек и довольно единообразно работающий «порождающий конструктор», создающий комплексы из них. Несомненно и то, что отрицать существование этого фонда уже невозможно.

Нельзя отрицать также, что лингвистика по неким глубинным причинам, о которых я буду говорить подробнее в следующем параграфе, не описывает перечень этих частичек, правила их комбинации, их ареальные преференции. Однажды мне довелось делать доклад о таких частичках, и самый важный вопрос из заданных мне был таким: «А к какой части речи они относятся, в какой уровень языка они входят?» Честным был только один ответ: «Ни к какой и ни в какой». И на это я услышала ответ лингвиста: «Так не бывает». За этим моим ответом стоит многое. Прежде всего – сам по себе достаточно пугающий намек на то, что лингвистика не умеет описывать все; что в языке есть недоступные для современной лингвистической теории пласты, однако вполне доступные и понятные для носителя языка. Тем самым ставится вопрос о неадекватности соотношения метаотображения и восприятия.

Особенностью описываемых элементов является то, что многие из них вполне известны языковедам как в единичном виде, так и в комбинации и входят в каноны Академических грамматик. Это, например, союзы: а, и, но, да, или, либо и др.; это частицы: то, же, даже, уже, ти, это, вонь, воть; это местоимения: къто, кыпото, иже, нЪкъто; это наречия: тамъ, туть, здесь < съ + де + сь и т.д. Однако приписать их к какому-то одному классу или к одной части речи не оказывается возможным. Возможным оказывается только более или менее обширное их пересечение с уже известным классом слов.

Например, таксономически их обычно связывают с так называемыми «дискурсивными словами»; однако отнюдь не все дискурсивные слова соотносятся с этим набором. Так, в частности, авторы статей в сборнике «Дискурсивные слова русского языка» включают в их число такие слова, как по меньшей мере, наоборот, еще раз, впрочем и др., которые не состоят из подобных частиц; но все-таки в этом же списке находим и упомянутые частицы вроде: только < то +лг/ + ко, дай < да + и, не + у н – же + ли, не + бо + сьи под.

Их предлагают также отнести к общей категории «незнаменательных слов», но и тут область незнаменательных слов пересекается с областью этого фонда лишь частично, поскольку в класс незнаменательных слов входят, например, предлоги, на подобные частички не разлагающиеся и имеющие иную языковую историю.

Значительное число этих единиц вводят в классы местоимений и частиц. И здесь, однако, мы можем найти исключения. В частности, не из таких частиц состоят, мы находим частицы, не восходящие к этому фонду: буквально, вправду, впрямь, вообще, исключительно попросту ит. д.

Наконец, некоторые первичные частички часто выступают в роли союзов. Но исключений достаточно и тут. Возьмем хотя бы союз хотя, И класс междометий тоже включает в себя значительное число таких частиц, И тоже не совпадает с ними полностью, например: Ах!, 0x1, Увы! и т.д.

Предельно простая фонетическая структура многих таких элементов – а они состоят либо из одного гласного, либо из комплекса: консонант + вокал – может привести к мысли о их таксономическом соответствии слогам языка. Но и это неверно, так как существуют слоги, не имеющие аналога среди фонда таких частичек, однако знаменательные слова распадаются на них легко, например: хо-ро-шо.

Традиционно подобные «частички» относили к частицам. Однако, как мы уже показывали, в разряд частиц языка входят слова совсем другого происхождения. Англоязычная традиция, например, называет частицами и глагольные «расширения» типа off up, over и т.д. Например:

1. John picked up the book
2. John picked the book up.

Эпиграфом к специальной статье, посвященной частицам и их «грамматике», Г. Дункель поставил удачные слова К. Бругмана: «Праиндоевропейские частицы с точки зрения их этимологии, формальных признаков и исходного значения в массе своей остаются в большей или меньшей степени неясными». Далее Г. Дункель пишет о назревшей необходимости реинтерпретировать многие частицы – «не только морфологически, но и семантически». Однако и он включает класс частиц в уже существующий набор индоевропейских классов морфем: корни, суффиксы и окончания. К частицам он относит также превербы и предлоги. На ряде важных положений Г. Дункеля, в частности о позиционном распределении частиц и о правилах их комбинирования, я остановлюсь в дальнейшем. Важно сейчас отметить, что он находит «совершенно не поддающиеся анализу формы» и что «именно здесь мы доходим до наиболее раннего пласта». Понимая, что частицы представляют собой некий, по сути, неясный для таксономии класс, Г. Дункель все же придерживается наиболее удобной теории – частицы есть нечто «застывшее», и осторожно называет «преувеличением» более крайние точки зрения на них – например, Г. Швицера: «Для развития древнейших частиц более поздние частицы, которые явно представляют собой окаменевшие падежные и глагольные формы, не могут служить аналогией», – а также считает преувеличением гипотезу об изначальной односложной структуре частиц, которая привела бы «к необходимости признать, что все двусложные частицы являются фактически производными».

Наиболее откровенное неприятие частиц как самостоятельного слоя языка находим у Т. Ван Баара. Признавая, что частицы всегда были и остаются проблематичной и пренебрегаемой лингвистами сферой изучения, он все же предлагает для них некоторую дефиницию: «Particles are only negatively defined: grammatical elements are only particles if they do not belong to any of the other parts of speech».

И все же Ван Баар предлагает для частиц в плане выражения два релевантных признака: 1) они всегда моносиллабичны; 2) они никогда не приобретают «нормального» ударения.

Определение статуса частиц А. Звики, который наиболее подробно, по сравнению с многими другими лингвистами, занимался и частицами, и клитиками, немного напоминает известную ироническую формулу «Этого не может быть, так как этого не может быть никогда!». Частицы, по его мнению, не входят в «поуровневую» грамматику, но и не составляют отдельного грамматического класса: «Тhеге is no grammatically significant category of particles here is no particle level in the hierarchy of grammatical units». Таким образом, напрашивается признание того факта, что частицы не принадлежат ни к какой синтаксической категории. Но такого ведь, по его мнению, быть не может, поэтому А. Звики придумывает для них особое название «дискурсивные маркеры» и тем самым не оставляет их лингвистически беспризорными.

Общее же впечатление от работ, посвященных «частицам», состоит в том, что в языкознании существует некое внутреннее неприятие тех явлений языка, которые стоят за ними как за обобщенным классом, нисколько не противоречащее, однако, лексикографическому удовольствию от анализа отдельных «частиц». В конечном итоге интерес иногда вызывают и вопросы их происхождения: частицы ли произошли из местоимений, местоимениями из частиц? что такое флексии – застывшие местоимения? активные частицы-энклитики? что значат «темы», «расширители» и т.д.?

Частицы, восходящие к древности, принято называть «дейктическими». Сама теория указания как особого коммуникативного поля достаточно давно представлена еще К. Бюлером. Он считает, что «в языке есть лишь одно-единственное указательное поле, семантическое наполнение указательных слов привязано к воспринимаемым указательным средствам и не обходится без них или их эквивалентов». Всего К. Бюлер видит три способа употребления указательных слов: применение непосредственно, ad oculos, анафорически и как «дейксис к воображаемому». К. Бюлер четко различает слова указательные и слова назывные. В помощь первым может привлекаться как зрительный момент, так и звуковой. Самое существенное, что К. Бюлер не описывает указательные слова, так сказать, лексикографически, а связывает их в некие пучки, например: ЗДЕСЬ – СЕЙЧАС – Я; Я – Ты и т.д. Замечательно и то, что К. Бюлер все время, по сути, взывает к тому, что не только назывные слова передают необходимую для человека коммуникативную информацию, а значительная часть сведений передается тем, что называется ad oculos и ad aures.

Однако тенденция к секуляризации чисто указательных слов видна в современной лингвистике и в функциональном плане. Так, большая обобщающая статья К. Киселевой и Д. Пайяра посвящена глубокому анализу сути функционирования дискурсивных слов, но только внутри этого пласта как такового, то есть без обращения к другим языковым уровням и без сравнения с ними.

Как будет видно из анализа славянского материала, представленного в третьей главе настоящей книги, в наибольшей степени функционально нагруженными являются частицы-партикулы с консонантной опорой и. Они могут выражать неопределенность: русское кь + то + то, чь + то + то; с другой стороны, могут выражать определенность: определенный постпозитивный артикль в болгарском языке или постпозитивный член в севернорусских говорах. Ср. также русское се, ceil и польское kto$. Эта разошедшаяся по родственным языкам семантическая амбивалентность говорит о первичной энантиосемии частиц с указанной консонантной опорой и тем самым об их древности. Безусловно, они восходят к древнейшим элементам \*so, \*tod, по поводу которых существует большая специальная литература и о которых мы будем говорить в последнем параграфе главы второй.

То, что эти две основы являются ведущими для индоевропейской системы в целом, подтверждает и Фр. Адрадос, об идеях которого также будет говориться ниже. Он считает, что элементы -\*so, -\*to впоследствии эволюционировали во множество местоимений и союзов индоевропейского языкового пространства.

Происхождение и дистрибутивное функционирование этих двух индоевропейских «местоимений» трактуется по-разному, и целесообразно именно здесь также представить эти разные трактовки – не потому, что автор хоть в какой-либо степени претендует на окончательный вывод, а потому, что эти различия связаны с общим отношением к происхождению и деятельности «частиц».

У «классиков» индоевропеистики, Б. Дельбрюка и К. Бруг-манна, \*s и \*t считались двумя воплощениями одного и того же элемента, с различием в парадигматической дистрибуции, а именно: в именительном падеже многие индоевропейские языки выбирают s-основу, а в косвенных падежах – основу на t~. Однако в литовском и славянском «nur dass im Nominativ der S-Stamm durch den T-Stamm verdrangt worden 1st».

Э. Стертевант в 1939 году предположил, что оба эти «местоимения» восходят к «индохеттским» конгломератам союзов. При этом союз \*so употреблялся в предложениях без замены субъекта, a \*to – в предложениях с заменой субъекта. Союз \*so был в дальнейшем реинтерпретирован как местоимение в именительном падеже. «Индохеттские» конгломераты в индоевропейских языках приобретали значение местоимений, тогда как в хеттском они сохраняли свое древнейшее значение. Эта гипотеза была отвергнута X. Педерсеном на том основании, что указательные местоимения являются древнейшими элементами языка, тогда как сочинительные союзы типа хеттского га/, /я, sn возникают значительно позднее. Т.В. Гамкрелидзе также опровергает гипотезу Э. Стертеванта в целом, оперируя фактами хеттского синтаксиса, где фактор замены или незамены субъекта не связывается с типом союза. Г. Дункель в свою очередь обращается к анализу форм \*so/su в среднеиндоевропейском языке, которые представлены в синтаксисе параллельно формам \*to/te. При этом, по его мнению, существовало личное местоимение 3 лица единственного числа, начинавшееся на \*s~. Ортотонические формы были связаны с консонантной опорой на \*t, а энклитические – с консонантной опорой на \*s.

Есть и другая трактовка этих форм, которую можно назвать фонетической, а именно: дейктическое so синонимично формам sa и se. П. Схрайвер считает оба местоимения членами единой парадигмы, сохраненной в большинстве индоевропейских языков, в которых все флективные формы, кроме номинатива, начинаются с консонанта \*t.

Эти элементы, по мнению некоторых исследователей, связывают местоимения и существительные. См. у О. Семереньи: «В последнее время вновь оживленно дискутируется другой вопрос, а именно: каким образом женский род выделился из класса одушевленных. При этом в большинстве случаев наблюдается возврат к старой точке зрения, которая состояла в том, что общее развитие – а- и – i – как признаков женского рода восходит к местоимению. В то же время сами местоимения были образованы по образцу некоторых существительных, которые имели подобные окончания случайно.

К. Шилдз считает, что местоименная форма на \*so использовалась по отношению к существительным, когда необходимо было передать функцию эргативности, а форма \*tod привлекалась, когда необходимо было указание на абсолютный падеж. Он демонстрирует наглядно то, сколько ученых лингвистов бились, приписывая это \*s то одному, то другому грамматическому классу. Говоря более точно, можно сказать, что это никуда не укладывающееся и мучительное для языковедов \*s как бы скользило по нарождающейся грамматической системе, «приклеиваясь» то к одной, то к другой грамматической форме. Так, оно приобретает статус флексии имен одушевленного класса, заменив собой ноль. Полагая эту форму рефлексом более древнего деривационного суффикса, обладавшего функцией индивидуализации, или выделения, К. Уоткинс считает, что \*s вскоре стал использоваться в функции показателя 3-го лица глагола. По его мнению, происхождение \*s следует искать в сочетании глагольного корня с конечным расширителем, это было просто «фонетическое добавление». К этому «расширителю» Уоткинс возводит суффикс аориста, но сначала «расширитель не имел значения». Это же \*s используется как показатель 2-го лица во многих индоевропейских языках, а в тохарском – как показатель третьего лица. К. Шилдз описывает дальнейшую историю этого элемента так: \*s был интерпретирован как неличный показатель в системе первичных глагольных форм, затем он был распространен на имя и превратился в показатель номинатива. В более поздний период показателем 3-го лица единственного числа стал формант \*t и, таким образом, функции \*s были ограничены 2-м лицом. Все эти гипотетические построения показывают только одно: они демонстрируют зыбкость появления первых грамматических форм, неустойчивость ранних парадигм, когда одна и та же партикула могла в принципе переходить от одного формирующегося класса к другому и от одного члена парадигмы к другому члену той же парадигмы.

Именно поэтому моя монография и имеет вторую часть названия, точнее, подзаголовок: «История блуждающих частиц».

За всеми этими описанными выше построениями просматривается еще одна тенденция: сохранить для раннего этапа развития языка выведенные позднее частеречные таксономии. Для лингвистов современной традиции аморфные и диффузные по семантике элементы не могут априори присоединяться в виде флексии, поэтому флексии в лучшем случае могут быть хотя бы местоимениями. Частицы также обязаны быть классом слов, вписывающимся в общую частеречную таксономию. Однако стройность порождающего этот не описанный класс языковых единиц «конструктора», простота выделения его компонентов и их структурная связанность друг с другом очевидны.

Именно поэтому я не хочу в дальнейшем говорить о таком многолетнем и все же неприкаянном термине, как «частицы», и тем самым использовать этот термин в качестве базисного, поскольку речь не пойдет о словах типа исключительно, просто и под., а о компонентах этого прозрачного и ни разу никем не собранного «конструктора». Эти компоненты-частички я буду в дальнейшем, как я уже говорила, называть партикулами, поскольку русский язык как будто специально для подобного описания позволяет различать партикулы и частицы.

Итак, специально партикулами как отдельным и как будто бы легко – на поверхностном уровне – выделяющимся классом до сих пор никто не занимался: их или включали в класс частиц вообще, или рассматривали как факт глубокой индоевропейской древности, потом превратившийся в нечто другое. И тут таксономическая ориентация буксовала: то ли они сами являлись окаменелыми реликтами местоимений, то ли, напротив, именно они превращались в местоимения. В презумпцию обязательности входила также разновременность и разнофункциональность существования «частиц» и союзов.

Как представляется, метатеоретический выход был найден не сразу, но он оказался достаточно простым. Его можно найти в работах таких индоевропеистов, как Ф. Адрадос, У. Лемаи, У. Марки и, в особенности, К. Шилдз младший, чьи взгляды полностью совпадают с взглядами автора настоящей монографии.

Прежде всего нужно назвать широко цитируемую статью Ф. Адрадоса «The new Image of Indoeuropean. The History of a Revolution)). В ней прямо говорится о том, что «типично» реконструируемый индоевропейский есть индоевропейский позднейшей праязыковой стадии, построенный с опорой на древние флективные языки. См. удачное определение «типичных» реконструкций праиндоевропейского, сделанное В. Пизани: «Большинство рассмотренных до сих пор исследований страдает одним пороком: они все исходят из такого восстановленного «индоевропейского языка', который по характеру представлений о нем напоминает латинский язык учебника для средней школы».

Ф. Адрадосом же выстраивается трехступенчатая модель эволюции «индоевропейского»:

1. дофлективный индоевропейский. Стадия I;
2. хеттско-анатолийская стадия. Стадия И;
3. политематический язык «типичной» реконструкции. Стадия III.

Работа Ф. Адрадоса была очень «своевременной», хотя мысли о дофлективной стадии индоевропейского высказывались ранее и Вяч. Вс. Ивановым, и В. Шмальштигом.

Хотя в работе Ф. Адрадоса есть много важных для нашей темы наблюдений.

И все же. Не следует забывать, что само понятие дейксиса – это понятие метатеоретически позднее. См. определение дейксиса в самом общем виде, данное Ю.Д. Апресяном: «…основное свойство всякого дейксиса. Этим свойством является либо совпадение, либо несовпадение пространственно-временных координат описываемого факта, как их мыслит говорящий, с теми пространственно-временными координатами, в которых говорящий мыслит себя».

Более глубокий анализ пространства партикул, как представляется, может вывести их исследователя не на дейксис, так сказать, в «чистом виде», а на некоторое общее и семантически диффузное свойство первичных частичек-партикул: на более общее указание о сообщаемом факте, предмете или действии, а не только на их качество в виде древних демонстративов – дейктических элементов в современном нашем понимании. В этом смысле словосочетание «дейктические частицы» можно рассматривать как некое металингвистическое клише вроде «логического ударения».

Вяч. Вс. Иванов полагает, что в эволюционном процессе имена собственные опережают личные местоимения, он пишет о речевом поведении «маленьких детей, которые предпочитают не использовать эгоцентрические слова и испытывают большие трудности в связи с употреблением личных местоимений-шифтеров, по Якобсону, соотносящих сообщение с актом речи и кодом. Употребление собственных имен, согласно сказанному выше, соответствует более ранним эволюционным возможностям» и. Может показаться, что дальше он противоречит сам себе, объявляя первичными жестовые зрительные сигналы: «Представляется возможным, что жесты у далеких предков человека сосуществовали с относительно небольшим числом звуковых сигналов, сходных с теми, которые обнаруживаются у высших млекопитающих. Но эти сигналы еще только находились на пути превращения в фонемы устного языка. Общее происхождение последнего и жестового общения, быть может, отражается в недавно установленных фактах, показывающих связи современного языка жестов с левым полушарием». На самом деле эти два положения Вяч. Вс. Иванова блестящим образом демонстрируют принципиальную невозможность объявлять партикулы «застывшими местоимениями».

Нужно отметить, что идея о «дофлективном» существовании протоиндоевропейского высказывалась и классиками XIX века. Первым в этом отношении был, конечно, Франц Бопп, о котором все знают и учат его имя с юных лет, но мало ссылаются и, вероятно, мало читают. По сути Бопп высказывает те же идеи, которые Ф. Адрадос и К. Шилдз декларируют как «революции» в реконструкции индоевропейского. См. у Франца Боппа эти идеи, воспринимающиеся по принципу «новое – это хорошо забытое старое»: «Es gibt im Sanskrit und mit ihm verwand-ten Sprachen zwei Klassen von Wurzeln; aus der einen, bei weitem zahlreichsten, entspringen Verba und Nomina welche mit Verben in bruderlichem, nicht in einem Abstam-mungs-Verhaltnisse stehen, nicht von ihnen erzeugt, sondern mit ih-nen aus demselben Schosse entsprungen sind. Wir nennen sie jedoch, der Unterschejdung wegen, und der herrschenden Gewohnheit nach, Verbal-Wurzeln Aus der zweiten Klasse entspringen Pronomina, alle Urprapositionen, Conjunctionen und Partikeln; wir nennen diese «Pronominalwurzeln», weil sie samtlich einen Pronominalbegriff aus-driicken, der in den Prapositionen, Conjunctionen und Partikeln mehr oder weniger versteckt liegt».

Древнейшее состояние индоевропейского описывает также и К. Бругманн, но описывает его, так сказать, с прямо противоположных позиций, т.е. считает всю эволюцию протоэлементов шагом к знаменательным словам: «Wir haben fur unsem Sprach-stamm eine Periode vorauszusetzen, in der den Wortern noch keine suffixalen und prefixalen Elemente fest anhafteten. Die Wortformen dieser Periode bezeichnet man als Wurzeln und spricht demgemass von einer Wurzelperiode der idg. Sprachen. Sie lag weit zuruck hinter dem Entwicklungsstadium, dessen Formen wir durch Vergleichung der einzelnen idg. Sprachzweige zimachst zu erschliessem vermogen, und das man die idg, Grundsprache schlechthin zu nennen pflegt».

Таким образом, мы можем видеть, что победа «по-уровневой» лингвистики и воцарение униформитарного принципа типологической верификации предали забвению догадки старых мастеров.

2. Типы научной парадигмы и партикулы

Эти мелкие частички-партикулы, с одной стороны, и обобщенные рассуждения о типе науки, с другой, казалось бы, никак не могут быть связаны. Однако нужно вернуться к тому вопросу, который был мне задан и о котором я писала в начале: «А к какой части речи относятся эти частицы?», и к моему ответу: «Ни к какой!» и к следующей ответной реплике «Так быть не может». За этим вопросом явно следовало глубокое убеждение, что современная лингвистика все описала и все определила по классам и ничего «в индетерминированном остатке» быть не может. Именно такая наука называется «нормальной наукой», по Т. Куну, и именно на этом хотелось бы сейчас остановиться.

Итак, по Т. Куну, «нормальная наука… основывается на допущении, что научное сообщество знает, каков окружающий нас мир». Тогда исследования – это «упорная и настойчивая попытка навязать природе те концептуальные рамки, которые дало профессиональное образование».

Ранее мною была предложена классификация ученых, опирающаяся на следующие два признака: 1) метод и 2) материал. Каждый признак может быть представлен двумя манифестациями-признаками: старый /новый.

Таким образом, получилось четыре возможных типа ученых: 1) старое о старом; 2) старое о новом; 3) новое о старом; 4) новое о новом. Если эти типы совместить с типологией Т. Куна, то к «нормальной науке» должны принадлежать два средних типа: старое о новом и новое о старом.

Итак, по Т. Куну, цель нормальной науки «ни в коей мере не требует предсказания новых видов явлений». Исследование в нормальной науке направлено на «разработку тех явлений и теорий, существование которых парадигма заведомо предполагает».

Очень интересные наблюдения над эволюцией лингвистики во второй половине XX века, которые можно соотнести с концепцией Т. Куна, содержатся в статье Р.М. Фрумкиной. См.: «Со временем «новая» лингвистика постепенно и закономерно тоже превратилась в нормализованную науку», и ранее: «Понятно, почему глубокая методологическая рефлексия и споры о «теориях среднего уровня» не типичны для нормализованной науки: в ней метанаучная проблематика перестает быть актуальной».

Однако нормальная наука, как и любая наука, должна развиваться. Поэтому ученые начинают исследовать «некоторые фрагменты природы так формально и глубоко, как это было бы немыслимо при других обстоятельствах». Акме нормальной науки ощущается тогда, когда возникает жажда решения «новых задач-головоломок». Тогда нормальная наука становится решением головоломок и по сути своей мало ориентирована на крупные открытия. Нельзя не обратить внимание и на следующее положение Т. Куна: ученым-приверженцам нормальной науки предлагается «не сформулированная система правил, а согласованность исследовательской традиции». Нормальная наука становится все более точной. Развивается эзотерический для непосвященных словарь и профессиональное мастерство. «Поскольку в науке реже, чем в других областях человеческой деятельности, есть несовместимые точки зрения», научное сообщество начинает объединять то, что Т. Кун называет «дисциплинарной матрицей». Дисциплинарная матрица характеризуется: 1) общностью символических обозначений, 2) метафизической парадигмой, т.е. общепризнанными предписаниями, 3) ценностями. Последние должны быть более общего свойства. Например, установка на прикладную полезность науки – это одна из ценностей парадигмы. См. определение такой ценности в «новой лингвистике», становящейся постепенно нормальной наукой, как строгость, которая на определенном этапе противопоставлялась психологизму как «расплывчатым умозрениям».

Вскоре после появления публикаций Т. Куна раздались и голоса ученых, утверждавших, что к лингвистике его положения в принципе неприменимы. Так, например, В.К. Персиваль опирается на тот факт, что «научная революция», по Т. Куну, есть следствие появления какого-то одного научного гения. Кроме того, понятие парадигмы в теории Т. Куна есть понятие социальное, а научная революция создается отдельной секуляризованной личностью, и тем самым в теории Т. Куна есть внутренние противоречия. Сама же лингвистика строится на том, что у всех новых теорий есть обязательно свои предшественники.

Однако история лингвистики второй половины XX века, на наш взгляд, подтверждает прогностические положения Т. Куна.

А именно: нетрудно заметить, что «нормальная наука» лингвистика возникла в середине 50-х годов прошлого века и развивалась с тех пор, абсолютно следуя прогнозам Т. Куна.

Несомненно также, что мы можем обнаружить и предсказанный Т. Куном этап «головоломок». Это – начало 60-х, когда возникли так называемые «лингвистические задачи». Унификация лингвистических подходов шла, также в полном соответствии с прогнозированием Т. Куна, из недр так называемого ОСИПЛ, т.е. Отделения структурной и прикладной лингвистики. Характерно, что одной из «ценностей» тех лет была объявлена прикладная полезность лингвистики, ее обязательная парадигматическая близость к точным наукам вроде математики.

Единообразная парадигма распространялась далее и на студентов Лингвистического факультета Российского государственного гуманитарного университета. «Лингвистические задачи» оказались необыкновенно удачным решением назревавшего этапа головоломок.

Естественно, что близкими к задачам головоломками должны быть занятия дешифровочного типа. И замечательно, что именно в этот период лингвисты обратились к дешифровке новгородских берестяных грамот, которые вдруг стали обнаруживаться в большом количестве, как будто по воле Судьбы, и языковеды стали делать множество мелких и крупных по значимости наблюдений, прочитывая новонайденные грамоты и перепрочитывая найденные ранее. Хочу сразу снять какую бы то ни было аксиологическую установку со своих выводов. Просто не могу согласиться с известным положением о том, что историк является «пророком, предсказывающим назад». Безусловно, и история «не знает сослагательного наклонения». Но его должны знать ученые, задача которых – обнаруживать развилки эволюционных путей и вычерчивать возможные сценарии несостоявшихся событий.

Можно заметить, что многое из указанного выше появилось и появляется случайно. Однако прогнозы Т. Куна позволяют нам, хотя на небольшом научном пространстве – языкознания как науки, увидеть неизбежность эволюционной перспективы в науке вообще и, видимо, в истории в целом.

Можно заметить также, что все-таки мы имеем, как будто бы вопреки Т. Куну, по крайней мере два крупных открытия на фоне последних десятилетий. Это – ностратическая теория, предложенная В.М. Илличем-Свитычем, и находка так называемого «Новгородского кодекса XI в.» А.А. Зализняком. Но на это можно возразить, что, во-первых, открытие В.М. Илличем-Свитычем было совершено, так сказать, на пороге парадигмы «нормальной науки» и, строго говоря, к ней не относится. Во-вторых, напротив, открытие А.А. Зализняка и его фантастическое по результатам прочтение почти не прочитываемого текста могут – именно по своей поразительное™ – служить неким «звонком» кризиса господствующей парадигмы, поскольку само открытие относится также к тому, чего «не может быть, ибо этого не может быть никогда».

Таким образом, на предпарадигмальной стадии развития науки еще возможны, по Т. Куну, сосуществующие прочтения одного и того же материала науки, парадигмы, находящиеся, пользуясь языком физики, в «отношениях дополнительности». Обращаясь к лингвистике XX века, можно предположить, что такая возможности была. Это был, по нашему мнению, межвоенный период, когда сосуществовали две лингвистики, однако в прямой форме это никак не формулировалось.

Как это ни покажется странным, как будто бы второстепенные явления языка – интонация и «мелкие» слова – стали ключевым моментом при разделении этих двух подходов к языку.

Говоря о первом направлении, нужно в первую очередь вспомнить труды С.И. Карцевского. Его подход в целом можно назвать синтагматическим, ориентированным на реальную фразу, на высказывание. Фразу создает интонация. Она имеет свою грамматику, и он – практически первый – описал эту грамматику, перечислив интонацию межфразовых связей. Его предшественники обычно ограничивались одной фразой. Интонацию он понимал не только как мелодику, а как многопараметрическое единство ее акустических составляющих. Соединяя фразы, интонация может выражать четыре категории: симметрию, асимметрию, тождество и градации. Язык, по С. Карцевскому, состоит из: 1) слов, 2) грамматики, 3) интонации. Самое важное в его теории было то, что слово не было для него основой основ, оно было лишь частицей фразы: «слово есть частица, выпавшая из фразы». Обращаясь же к «мелким» словам, Карцевский видел в начале существования естественного языка синтаксис, рождающийся из междометий, экспрессивных восклицаний. Впоследствии они превращались во «внешние союзы», инициирующие высказывание-фразу, затем они интериоризировались, становясь нашими современными «внутренними» союзами. А привычное таксономическое начало – фонетику и фонологию – Карцевский считал уже последним этапом освоения языковой структуры. Таким образом, синтаксис был для него первичным.

Однако синтаксис был первичным и для сторонников «нового учения о языке», он был краеугольным камнем и отправной точкой для диахронических разработок марристов. Архаический синтаксис был для них некоей диффузной зоной, в пространстве которой функционировали почти асемантичные звуковые комплексы. Предполагалось, что эта диффузность и нерасчлененность высказывания вполне соответствовала мышлению первобытного общества. Как пишет С.Д. Кацнельсон, «Таким образом, первично грамматический строй отличался, по Н Я. Марру, нерасчлененностью техники и идеологии, непосредственным и прямым соответствием между синтаксической формой и ее содержанием». См. там же: «Главным и решающим в грамматике является целостное предложение, а не искусственно вырванное из контекста слово». В известной степени схожие идеи можно найти и у Л.В. Щербы. Говоря о грамматиках и словарях языков, создаваемых в разное время, Л.В. Щерба пишет: «Однако при этом прежде всего забывали то, что вообще все языковые величины, с которыми мы оперируем в словаре и грамматике, будучи концептами, в непосредственном опыте нам вовсе не даны».

Необходимо заметить, что сходные теоретические позиции и искания можно найти не только в отечественном языкознании. Приведем в качестве примера одно мало известное движение в Германии, как-то увядшее в течение периода между войнами: так называемых «лингвистов-телеологов». Это Э. Херманн, В. Хаверс, В. Хорн, печатавшиеся в Вене, Геттингене, Страсбурге и др.

Центром внимания, ядром языкового происхождения и ареной эволюции это направление также считало синтаксис. Именно из «синтаксического дыма», по их мнению, рождались звуковые комплексы, затем – слова, затем – фонемы.

Очевидно – по всем ссылкам и по принципиальной значимости самой работы, – что у «телеологов» основополагающими трудами были прежде всего следующие: книга В. Хаверса «Основы объясняющего синтаксиса» 1931 и монография Э. Херманна «Звуковой закон и принцип аналогии» того же 1931 года. Более поздние их труды принципиально новой теории уже не содержали. Первичными для телеологов были мелкие словечки не больше слога, которые вначале были вопросительными, затем указательными, далее превращались в неопределенные слова. По мнению В. Хаверса, эти мелкие слова были частотными в нарождающейся звуковой речи, так как из-за своей краткости и фонетической простоты они были удобопроизносимыми и хорошо воспринимались перцептивно. Неясным остается, однако, их взгляд на происхождение знаменательных слов, вообще – на происхождение морфологии. По мнению телеологов, эти мелкие словечки разным образом комбинировались в линейном потоке речи, именно поэтому главным источником знания о языке древности и понимания языка современности и является синтаксис.

Итак, синтаксис par excellence является в этой теории центром лингвистических изменений и ареной их реализации. Таким образом, очевидно, что «парадигматическое мышление», ставшее центральным в лингвистике в последующие десятилетия, еще считалось для них второстепенным. Необходимо заметить, что «телеологи», в свою очередь, стояли на плечах двух знаменитых предшественников: Б. Дельбрюка, завершителя младограмматического синтаксиса, которому его ученик, Э. Херманн, посвятил целую книгу после его смерти, и Я. Ваккернагеля, известные положения которого о втором, ослабленном, месте в высказывании тогда усиленно обсуждались: второе слово или второй член предложения? Члены предложения, в рамках немецкой теории, как уже говорилось, стягивались из диффузных частиц, становясь оформленными частями речи.

Близким к российской лингвистике было у них и понимание сути языковой эволюции. См. у Л.В. Щербы: «Мы имеем полное право сказать, что вообще все формы слов и все сочетания слов нормально создаются нами в процессе речи в результате весьма сложной игры сложного речевого механизма человека». Именно такая же отчетливая установка на то, что эволюция языка в реальности есть сложное переплетение условий и движущих сил, и это для каждого языка индивидуально благодаря внешним воздействиям, и заставила Э. Херманна написать очень большую книгу против «безысключительности» звуковых законов, в которой на каждом шагу не только демонстрируются, но и интерпретируются «исключения» из фонетических законов и нерегулярность действия законов аналогии. По мнению Э. Херманна, компаративисты просто ловко лавируют между запутанными Lautgesetzten, а на самом деле их методы нуждаются в улучшении. В отличие от классических индоевропеистов, «телеологи» интересуются не методами реконструкции морфологии и фонологии, а требуют тщательного построения идущей в праисторию линии синтаксических изменений и затем – выведения универсальной эволюционной диахронической структуры. Именно эта установка на поиск универсалий вынудила Э. Херманна обратиться также к детальному обследованию фактов фразовой интонации в самых разных языках, в том числе и даже самых экзотических.

И все же лингвистика концептов, т.е. валоризованных обобщений языковой данности, в это время развивалась и практически победила. И победила неслучайно. Такое описание начинается с фонемы и идет далее «по уровням», складывающимся по принципу: из мелких кирпичиков – в большие здания.

В подобном, бесконечно более удобном для описания и преподавания, построении языка никак не могло найтись места не только «партикулам», но и просто незнаменательным словам и интонации. Неслучайно, что именно в эту межвоенную эпоху появились и стали регулярными созываемые специальные Фонетические конгрессы, в то время как для других языковых «уровней» таких регулярных и секуляризованных конгрессов не существует.

Таким образом, в «поуровневой» системе интонации и партикулам места не нашлось, а в первой, побежденной, системе метаописания, низшие и первичные единицы языка тонули в тумане высказывания-фразы; т.е., иначе говоря, побежденному метаописанию трудно было перейти от интуитивно мерцающей реальности к абстрагированному метаотображению. Любопытно, что только на уровне словаря лексем, т.е. минимальных единиц, все-таки оказалось возможным приписывать слову его интонационные характеристики, но в общей системе «поуровневого» описания интонации и партикулам места не нашлось.

Формулируя более четко, скажем, что описание, начинающееся с фонологии, не сосуществует с интонацией и частицами в той же системе и сосуществовать не может. Важно, что приверженцы-создатели новой теории – Н.С. Трубецкой и Р. Якобсон – постепенно охладели к просодическим заданиям. Р. Якобсон занимался только ударением и стихом, а Н.С. Трубецкой нашел выход в полной секуляризации просодии, выделяя ее в «Основах фонологии» в особый, весьма эклектичный раздел.

Итак, говоря проще, оба представленных описания языка находятся в отношении «дополнительности». Подобные отношения «дополнительности» вполне известны в таких науках, как, например, физика или биология, и почему-то оказываются совершенно нетерпимыми в лингвистике, видимо, еще не подошедшей к самым первым кризисам «нормальной науки», по Т. Куну.

Нетрудно заметить, что некоторым тормозом для смежных наук вообще является обычай? привычка? брать исследователями области А из соседней науки Б нечто, искренне полагающееся незыблемым, тогда как для ученых самой Б эта незыблемость может ставиться под сомнение. Так, выше мы говорили о том, что многие лингвисты считали, что язык человека начинается с высказываний, т.е. синтаксиса. И только «нормальная наука» сделала синтаксис уровнем высшего класса. И вот мы читаем у биологов: «Эта способность комбинировать символы не случайным образом, а в порядке, который передает вполне определенный смысл, заставляет предполагать, что антропоидам доступно наиболее важное свойство языка человека, то, что в лингвистике считается его вершиной, – синтаксис».

А если «в лингвистике» попытаться перевернуть пирамиду уровней?

3. Возможности метаотображения и реальность эмпирии

К вопросу о том, к какой части речи принадлежат партикулы, и к тому, почему же так долго и так неохотно лингвистика как «нормальная наука» не принимала ни «дискурсивных слов», ни интонации и все время стремилась отбросить их на особые эволюционные рельсы, необходимо еще раз вернуться и рассмотреть это с несколько другой точки зрения. Несмотря на их вполне законный статус в пределах языковых систем, дискурсивные слова есть, скорее, факт устного общения или были ранее фактом исключительно устного общения. Как уже говорилось в параграфе 1, эти частички-партикулы уводят нас к чему-то очень древнему, к самым ранним пластам языковой эволюции; значения их диффузны, размыты, но, рассмотренные с общеславянской точки зрения, они воссоздают какую-то общедоступную для носителей славянских языков семантику.

Итак, лингвистика как «нормальная наука» настоящего времени не любит ни устного, ни диффузного, ни – в целом – чего-то, не имеющего таксономического статуса. Но – почему?

Корни этого, как представляется, восходят к глубокой древности и соотносятся с неким парадоксом описания языкового существования. Парадокс этот можно описать следующим образом. Все как будто бы знают, что в начале человеческая речь была устной, а письмо, запись речи, появилось гораздо позднее. Но в человеческом осознавании этого письменный текст был примарным.

Нам уже приходилось по этому поводу цитировать Мишеля Фуко, который пишет о самой ранней «эпистеме» отношения мира и вещей: «переплетение мира и вещей в общем для них пространстве предполагает полное превосходство письменности. Отныне первоприрода языка – письменность. Звуки голоса создают лишь его промежуточный и ненадежный перевод. Бог вложил в мир именно писанные слова; Адам, когда он впервые наделял животных именами, лишь читал эти немые, зримые знаки; Закон был доверен Скрижалям, а не памяти людской; Слово истины нужно было находить в книге. Ибо вполне возможно, что еще до Библии и до всемирного потопа существовала составленная из знаков природы письменность».

Именно поэтому, подчиняясь некоему общему закону, приверженцы «нормальной науки» Н.С. Трубецкой и Р. Якобсон и занимались в основном следующими проблемами: ударениями – они имеют графическое воплощение, или стихом, который легко поддается разметке.

Интересное наблюдение о человеческой ориентации на текст находим у такого многостороннего лингвиста, как И.А. Бодуэн де Куртене: «Усвоение письма ослабляет память на акустически воспринимаемые и акустически передаваемые явления. Память грамотного человека регрессирует и уже не может обойтись без помощи чтения и письма. Я, например, принадлежу к числу грамотных и когда хочу представить себе что-либо, мыслимое с помощью языка, то как бы вижу перед глазами написанные слова и фразы. Как я представлял себе то же в детстве, до того, как обучился грамоте, – я уже не могу вспомнить. По всей вероятности, я вообще не делал попыток в этом направлении».

Можно предположить, что эта концептуальная презумпция отображения мира, в том числе и слышимого, только в графическом пространстве изначальна. Во всяком случае, интересно заметить некоторую эволюцию верификационных установок у литературоведов. В принципе, ранее, если стоял вопрос о влиянии одного автора на другого или – уже – о влиянии произведения одного автора на произведение другого автора, метод верификации состоял в обнаружении книги автора А у автора Б и, желательно, еще с пометками автора Б «на полях». Между тем, каждый человек, в том числе и филолог, понимает, какую огромную часть получаемой им информации вообще он получает именно из устного и нигде не зафиксированного общения. Упомянутая эволюция, или методический сдвиг, состоит сейчас в том, что гораздо большее внимание уделяется дневникам, письмам, путевым заметкам писателей – с надеждой найти там следы все той же полученной им информации.

Можно предположить, однако, что за этой установкой на письменную оболочку языка стоит желание видеть в ней некую опору, уверенность в том, что мы видим мир и язык таковыми, каковы они суть. На самом деле метаотображение языка не всегда столь всеобъемлюще, как наше же его понимание. Известно, в частности, что интонационный поток многоканален и передает сразу самую разнообразную информацию, тогда как самые совершенные средства современной экспериментальной фонетики отобразить могут только три его измерения или же – разбить этот поток в виде нескольких информационных лент.

Эти идеи подводят нас к общим положениям соотношения метаотображения, эмпирической реальности и интуиции.

И «мелкие словечки», и интонация снабжают высказывание таким большим дополнительным к лексико-грамматическому составу количеством информации, что современная лингвистика как «нормальная наука» передать это практически не может. Мне уже приходилось писать о том, как в эпоху советской цензуры слушатели «бардовских» песен и даже вполне серьезной музыки находили в мелодиях некие «закодированные», но всем понятные политические намеки. При этом «этого же» у других исполнителей той же музыки или тех же песен не было. Точно также иногда люди, входя в комнату, ощущают нечто: приятное? странное? опасное?, чего объяснить на основе правил не могут. Если вернуться опять к книге Т. Куна, то в заключительных главах он пишет о «неявном знании» и интуиции как о проверенных и «находящихся в общем владении научной группы принципах, которые она успешно использует, а новички приобщаются к ним благодаря тренировке, представляющей неотъемлемую часть их подготовки к участию в работе научной группы». Приведу некоторые примеры из исследований лингвистов-коллег.

Владимира Николаевича Топорова как ученого отличала интуиция, доходящая почти до визионерства. Он был Мастером в старинном средневековом смысле. Его работа об античных Музах, которых он доводит, реконструируя, до полевых мышей Малой Азии, кажется несколько неожиданной. Однако два взрослых русских поэта пишут: «Музы, рыдать перестаньте» и «Я так боюсь рыданья аонид». Откуда этот страх? Как кажется, это элементарная человеческая реакция отталкивания от неприятного писка мышей. Другой пример. А.Б. Пеньковский пишет о «Нине», роковой, страстной, ломающей жизнь героине русской литературы первой трети XIX века, но – почти не существующей. Но спустя полтораста лет мы слышим в «блатной песне»: «Сегодня Нинка соглашается, / Сегодня жизнь моя решается… А если Нинка не капризная, / Распоряжусь своею жизнью я!» Полувиртуальная Нина сохранила свою сущность.

Итак, мы считаем, что эмпирическая реальность и ее мета-отображение суть явления разной природы. Наука XX века сумела отделить образы, существующие в нашем сознании, и впечатления от непосредственно данных нам в восприятии феноменов. То есть в XX веке пошел активный процесс преобразования бессознательного в сознательное, и именно это породило в конце концов ту лингвистику – «нормальную науку», которая сейчас является господствующей. Неслучайно И.А. Бодуэн де Куртене, как кажется, понял это один из первых, и его термин «психический» нужно понимать как образ сознания, так же, как «логический», который сейчас связывается не с логикой, а просто со смыслом. Повторяя слова К.Г. Юнга, можно сказать, что «Психическое существование – это единственная категория существования, о котором мы имеем непосредственное знание, так как ни о чем невозможно узнать, если это сначала не появится как психический образ. Только психическое существование непосредственно поддается проверке. В той степени, в какой мир не принимает форму психического образа, он фактически не существует».

Таким образом, наше метаотображение фиксирует воспринимаемое, в том числе и смысл слышимого, лишь частично, в той мере, в какой это структурировано в нашем сознании. Как подробно описала Н.Д. Арутюнова в своей книге, только сенсорика реагирует на актуальные события, знания же и факты располагаются в нашем сознании.

Основной идеей, проводимой в моей книге «От звука к тексту», была идея принципиального различения валоризованной системы и эмпирической реальности, которые связаны одна с другой через когнитивный порог перцепции: феномен эмпирии, перейдя через некий квантитативный порог, может войти в валоризованную систему, увеличив ее или даже несколько перестроив. То есть, это несколько другая интерпретация положения о «переходе количества в качество».

Несомненно, что обсуждаемые здесь партикулы, называемые обычно «дейктическими», включены в ситуацию сиюминутности или выросли из нее. Именно поэтому их первоначальную общность и нежелательно восстановить для лингвистики как «нормальной науки». Именно поэтому многие партикулы, бывшие позиционно и исторически свободными и примарными, лингвисты стремились объявить застывшими или окаменелыми формами уже сложившихся парадигм.

На самом деле валоризованная лингвистика с фактами того же языка в эмпирии пересекается. В работе я приводила в связи с возможностями отражения интонации положения Э. Бенвениста из его доклада на Лингвистическом конгрессе 1963 года. Считаем нужным повторить их и здесь. Э. Бенвенист понимал, что существуют два разных языковых мира, хотя они охватывают одну и ту же реальность; им соответствуют две разных лингвистики, пути которых, однако, пересекаются. «С одной стороны, существует язык как совокупность формальных знаков, выделяемых посредством точных и строгих процедур, распределенных по иерархическим классам, комбинирующимся в структуры и системы; с другой – проявление языка в живом общении». См. у него далее: «С предложением мы покидаем область языка как системы знаков и вступаем в другой мир, в мир языка как средства общения, выражением которого является речь».

Можно считать, что эмпирическая реальность языка – это речь, и отражает ее лингвистика речи. Однако и в данном случае наблюдения языковедов о речевых структурах или спорадичны, или переходят в область лингвистического употребления, то есть становятся правилами выбора «из оси селекции на ось комбинации», но не подлинным отражением, рецепцией того, что воспринимается и ощущается носителем языка в каждый момент.

4. Лингвистика парадигматическая и непарадигматическая

Общепринято деление на парадигматику и синтагматику и тем самым на лингвистику парадигматическую и синтагматическую. Эта последняя изучает правила соединения словоформ в синтагмы и в предложения. Тогда что же такое лингвистика «непарадигматическая»? Как с этим связаны минимальные единицы – партикулы?

Собственно говоря, «непарадигматическая» лингвистика – это то, о чем говорится в данной книге, и, как представляется ее автору, это и есть некая «дополнительная» система лингвистического метаописания.

В параграфе первом приводятся мысли Ф. Адрадоса и К. Шилдза о том, что протоиндоевропейский язык на первой стадии состоял «из номинально-вербальных либо прономинально-адвербиальных слов-корней, определявших друг друга и образовывавших синтагмы и предложения». То есть, иначе говоря, существовали два класса языковых единиц – те, которые составили впоследствии так называемые «знаменательные слова», и слова «коммуникативного фонда», часто называемые дейктическими, или дискурсивными. Они присоединялись друг к другу. В настоящей же книге речь идет о единицах второго класса, которые легко раскладываются на минимальные единицы – партикулы.

Приведем простой пример. Откуда произошло окончание дательного падежа слова жена – жене! Историческое языкознание объясняет это так. GENA + I > GENAI > GENS, так как А + I > AI > 1>. Подобные объяснения знают студенты еще на младших курсах. Но при этом не ставится и не решается простой вопрос – что же это за i, присоединяемое к основе, тождественно ли оно i, лежащему в основе флексии номинатива множественного числа, и другим i, например, в глагольных флексиях, или это разные по функции и семантике i? Наконец, небезразличен для истории языка и такой вопрос: какова была в предыстории позиция этого знаменательного корня \*gen- и какова была его функция в высказывании, при которой это i присоединялось именно справа. То есть, иначе говоря, речь идет о том, как функционально дистрибуировались эти два типа единиц, описанных Ф. Адрадосом и К. Шилдзом, выбирая ту или иную последовательность представителей этих классов в зависимости от коммуникативного задания говорящего в ту эпоху. Можно – сначала упрощенно – сказать, что таким способом выявляется мотивация того, как «из вчерашнего синтаксиса возникает сегодняшняя морфология». Почему было сказано: «упрощенно»? Потому, что слова «вчерашний синтаксис» предполагают синтаксис в нашем современном его понимании, упорядоченные сочетания уже сложившихся форм словоизменения. Каков же был на самом деле «дофлективный» и «дочастеречный» синтаксис? Его мы, по моему мнению, должны реконструировать методами «непарадигматической» лингвистики, которая пока еще только возникает. Конечно, некоторые отдельные попытки воссоздать этот «минисинтаксис» словоформы уже делались, и давно: например, Ф. Шпехт трактовал форму множественного числа от греческого «человек» – avsqeg как «один человек и один здесь, а один там», то есть это как бы тройственное число.

Уже говорилось о том, что «нормальная» лингвистика этот вопрос практически не ставила. И можно понять – почему. Это – страх перед первоначальной диффузностью элементов, при которой современные семантические методы явно не работают. Это страх перед новой таксономией, который уже не толкает к тому, чтобы объявить приклеившиеся партикулы «застывшими» или «окаменелыми» формами в прошлом состоявшихся членов все тех же частей речи.

Это нежелание подумать о том, что наступает время новой парадигмы, которая, возможно, потребует расстаться с удобной идеей униформитарности, прочно укрепившейся в последние десятилетия. С идеей униформитарности связана и установка на невозможность – в эволюции – существования типологических тупиков. Дискуссии вокруг теории униформитарности относятся в основном к 80-м годам прошлого века, когда появились две книги, ставшие сразу цитируемыми. Это монографии Р. Лэсса и Дж. Айтчисон. Принцип униформитарности, провозглашенный Р. Лэссом, означал следующее: «Не существует ничего, что по каким-либо разумным причинам не могло бы существовать для настоящего, но было бы истинным для прошлого». В более поздних работах Р. Лэсс повторяет этот тезис, а также тезис о том, что изменения в языке не принадлежат области рационального изменения: «Я не думаю, что языки ~ это «системы» в собственно-техническом смысле, и что, таким образом, их можно удачно диахронически рассмотреть, даже если бы они и были таковыми»; он считает, что изменения в языке вообще не подлежат никакому объяснению. Аналогичные идеи развивает и Дж. Айтчисон: см. характерное название ее книги «Языковое изменение – прогресс или упадок?».

Естественно, что идеи униформитарности в свою очередь неотделимы от типологических изысканий, так как допустить что-либо неизвестное ранее в древности, по этой теории, можно лишь в том случае, если хоть где-нибудь найдется язык, обладающий искомым свойством. Таким образом, язык отделяется от других антропоцентрических проявлений, за которыми все-таки оставляют право иметь тупиковые и даже нам совсем неизвестные ответвления.

Напоминаю, что в нашей работе будет говориться именно о не описанных таксономически частичках языка, партикулах, которые могут выступать сейчас как лингвистические единицы – тогда они становятся либо союзами, либо так называемыми клитиками, либо частицами в грамматическом смысле; они могут склеиваться друг с другом, создавая новую лингвистическую единицу; они могут «приклеиваться» к глагольной или именной основе в виде аугментов, будущих флексий, будущих расширителей.

Таким образом, «непарадигматическая» лингвистика, в нашем понимании, это некая лингвистическая дисциплина, пытающаяся приблизиться к описаниям протоязыка Стадии I и проследить механизм возникновения словоформ, имеющих флексию, через описание еще не введенного в лингвистику, но явно единого по происхождению класса – класса партикул.

То есть «непарадигматическая» лингвистика может быть определена как новая дисциплина, стоящая между синтаксисом и морфологией. Однако одновременно она обращена и к синхронии, и к глубокой диахронии, так как не представляет собой историю тех слов, или словоформ, которые мы видим в языке и речи в настоящее время.

Этой дисциплины пока еще не существует – так же, как не существует такой части речи, как партикулы. Не существует пока и исследовательских методов, которые могли бы дать желанную историю партикул с не менее желанной мотивацией их преображения.

Как представляется, одним из подходов к этой истории может быть обнаружение «скрытой памяти» языка, о которой будет говориться в следующем параграфе.

5. «Скрытая память» языка и возможности ее выявления. Партикулы и знаменательные слова

В этом параграфе демонстрируются сразу две теоретические позиции, одна из которых предполагает другую. Проще говоря, на дискуссию выставляется такое общее понятие, как «скрытая память» языка. По нашему мнению, скрытая память языка распространяется не только на партикулы, не только на слова коммуникативного фонда, но и на слова так называемые «знаменательные». С другой стороны, концепция «скрытой памяти» может служить одним из способов реконструкции «партикульной» диахронии.

Итак, что же такое «скрытая память» языка? Прежде всего, ясно, что речь не идет о фактах обыденного научного знания, т.е. о тех фактах, которые известны историкам языка и специалистам-компаративистам. И не о тех фактах, которые сообщаются студентам. Так, например, описание диалектной дистрибуции праславянского Ъ – это не скрытая память. Объяснение того, почему в одних случаях в языке имеет место «беглая гласная», а в других нет, также не является «скрытой памятью», так как это тоже факты обыденного научного знания, об этом знают и пишут в нормативных учебниках.

Говоря обобщенно, можно сформулировать понятие «скрытой памяти» языка как ту ситуацию, когда в речеупотреблении сосуществуют два как будто бы свободно заменяющихся в коммуникации варианта; при этом на вопрос, чем их употребление различается, носитель языка ответить не может. Не может, как правило, ответить на этот вопрос и кодификатор-лингвист. И только пристальное исследование большого массива данных дает возможность выявить некоторую «тенденцию», позволяющую интерпретировать это различие; именно тенденцию, а не грамматикализованную модель. Иногда помогает выявить эти различия какой-нибудь формант, который не воспринимается и не описывается традиционно как релевантный фактор различения «вариантов».

Почти обязательным для «скрытой памяти» феноменом является «наивная» реакция носителя языка, и даже филолога, на вопрос об этих вариантах – в том смысле, что ответом будет сообщение о том, что ведь можно сказать и так, и так, и все равно будет правильно. Иными словами, разработка «скрытой памяти» не относится к той строгой лингвистике как нормальной науке, в которой описание строится по принципу: можно – нельзя.

Разумеется, я понимаю, что предлагаемая теория только нарождается. Все сказанное далее будет относиться к сфере партикул, которые, на мой взгляд, во многом помогают вычислить эту «скрытую память» языка. Именно они, по-моему, являются теми подводными межевыми столбами, которые помогают нам проследить путь языковой эволюции. Допускаю, что моя точка зрения пристрастна. Допускаю также, что и знаменательные слова, не перешедшие в разряд дискурсивных слов, тоже могут как-то определять «скрытую память» языка. Приведем некоторые примеры.

Нам уже приходилось писать об употреблении / неупотреблении в речи русского местоимения первого лица я.

Что же представляет собой это я в индоевропейской предыстории? Естественно, оно соотносится с такими же односложными формами славянских и балтийских языков. Но переход к индоевропейским языкам ведет я к греч. ауш, латинскому ego, др.-инд. aham, авест. azsm и др. Таким образом, оно предстает как трехчленное партикульное сочетание: е + g/h/z/ + m. В ЭССЯ оно реконструируется как \*egom. Неясными остаются: идентификация чередования е/а и объяснение того, почему в одних языках есть в этой форме j, а в других – нет. О.Н. Трубачев интерпретировал начальный j как необходимую вставку, для того чтобы избежать частых зияний, поскольку для Я частотна конструкция а + я, тогда было бы а..а. Возможна и другая концепция, по которой \*j-восходит к релятивному форманту, соединяющему части высказывания. Так, о более древнем чисто разделительном характере относительного местоимения \*jo писал еще Я. Гонда. См. также у К. Красухина: «Частица o/jo4 стоявшая в начале предложения в крито-микенских текстах, обладала сильным фразовым ударением. Это не морфема генитива, а частица, подобная \*de, т.е. выражающая противопоставление предшествующей конструкции и направленность на последнее сообщение». Тогда русское я может раскрываться в предыстории как четырехчленный катафорический комплекс, состоящий из четырех партикул: \*j + е + gh' + от. Что же этот комплекс означает, если его перевести на современный язык русских частиц-партикул? Это: «а + вот + он + я\ Интересно, что именно так часто отвечают русские, имея в виду самого себя, на вопрос: А где такой-то? Таким образом, «скрытая память» языка сохранила семантическое тождество этого древнего четырехчленного катафорического комплекса, только переодев древние партикулы в новые одежды из того же мешка партикул, а старый комплекс свернула до неузнаваемого неспециалистами моносиллаба.

Но с этим словом, местоимением первого лица, связаны и другие интересные вещи. Те, кто признает изначальную компо-зитность этого местоимения, расчленяют его по-разному. Так, например, О. Семереньи пришел к выводу, что \* – т было более ранним, и именно оно было личным окончанием глагола в первом лице: «Следовательно, значащим элементом в номинативе является не \*eg, а – от; \*eg – это элемент, который в качестве префикса присоединялся к местоимению \*ет». То, что позднее первое лицо восходит к комплексу частиц, а собственно показателем первого лица является m-основа, признает также В.Н. Топоров. Эту форму он реконструирует как \*eg'hom и пишет о ней: «и.-е. \*eg'hom, как бы его ни членить,… состоит более чем из одного элемента, из двух по крайней мере». Первым элементом он считает дейктический элемент: \*е-, \*Н'е-, \*H'ei– ? \*H'I и т.д. Вторым элементом – усилительную частицу: \* – g'h-, \* – gh– Но основное внимание он уделяет последнему элементу, с опорой на – т-, развивая идею совместного существования этой формы и той, которая выступает в родительном падеже и обычно трактуется как супплетивное образование для косвенных падежей у местоимения первого лица – т.е. \*men. По мнению В.Н. Топорова, это \*men связано с корнем «общементального значения» Me miserum «О, я несчастный' также важны тем, что демонстрируют возможность введения первого лица без интродуктивного построения 'вот + он + я', к которому на самом деле восходит индоевропейское «Я».

Достаточно сложное построение, однако близкое к указанным выше, предлагает для форм первого лица В.М. Иллич-Свитыч. Он перечисляет те языки, где т – основа связывается с первым лицом. Однако у автора явно возникают колебания в вопросе о том, что же считать исходной формой местоимения, а что – показателем косвенной основы. Он формулирует вывод следующим образом: «Наличие форманта косв. пад. – п- в форме gen. предполагает, по-видимому, что первоначальная форма те – выполняла функцию прямого падежа; введение специфического и.-е. новообразования – формы \*hegHom в пот. вызвало изменение функций основы \*те– В и-е., по-видимому, наличествовал вариант с предшествующим he-/ho –». Таким образом, вводящая конструкция у В.М. Иллича-Свитыча была элементом словоформы, вытеснившим в косвенные падежи исходное начало те-, которое в других языках ностратического пространства могло быть вытеснено формантом п-, также ставшим в свою очередь инициалью.

Однако для первого лица единственного числа в индоевропейском реконструируется еще одна форма. См. хеттское iik-, продолженное в германских местоименных формах, сохранивших много реликтовых элементов. К. Шилдз объясняет эту форму как контаминацию уже «ослабленного» первоначального дейксиса \*и и дейктической частицы \*к, обладающей семантикой 'here and now'. То есть и эта форма местоимения первого лица также есть первоначальный композит, а именно – комбинация дейктических элементов, очевидно, с тем же катафорическим значением вроде 'вот я'.

Все это можно было бы считать просто историей личных местоимений первого лица и не относить к явлениям «скрытой памяти», если бы это не имело отношения к одной скрытой тенденции различения двух конструкций, которую как раз демонстрирует именно русский язык. Дело в том, что в русском языке равно допустимы в речи и формы с представленным местоимением первого лица единственного числа: Я люблю хорошо заваренный чай, и формы без местоимения: Люблю хорошо заваренный чай. См. также в поэзии: Люблю тебя, Петра творенье и Я люблю этот город вязевый. То есть русский язык оказался интересным лингвисту для возможных новых выводов, находясь как бы в некоей середине, где по одну сторону помещаются языки с обязательным местоимением, и языки, где местоимение в речи практически почти всегда опускается. На эту особенность русского языка лингвисты не обращали пристального внимания, однако в последние годы появилась серия работ, начатых Ж. Брейяром и И. Фужерон, в которых демонстрируется, что за этим внешне не систематичным варьированием форм с местоимением и без него можно увидеть определенную тенденцию.

Эта тенденция такова: во-первых, местоимение возникает тогда, когда имеет место противопоставление – как контактное (Гости давно ушли, а я все продолжал обдумывать происшедшее), так и дистантное.

Интересно то, что связь местоимения с противопоставлением отмечалась для древних языков и отмечается для тех языков, где местоимение как правило отсутствует. То есть это, очевидно, одна из древнейших синтаксических реализаций сочинения при противопоставленности.

Далее. Во-вторых, местоимение первого лица появляется в русском языке при наличии в этом же высказывании других местоимений, часто контактных по отношению к нему, например: Он знает, что я ему этого не говорила; Честное слово, я их не видела и т.д. Интересно, что в старославянском, где употребление местоимения при противопоставлении обязательно, указанная выше ситуация я не требует.

Существует и ряд речевых штампов, когда, напротив, практически не употребляется я: Прошу слова; Слушаю Вас; Стреляю и т.д.

Однако основной вывод, который сделали Ж. Брейяр и И. Фужерон на материале современного русского языка, очень важен для объяснения контекстно-семантических отношений. А именно: я не употребляется тогда, когда говорящий полностью присоединяется к точке зрения Другого, я употребляется при несовпадении точки зрения говорящего и точки зрения Другого,

Отсюда следуют два важных вывода. Во-первых, в семантику неприсоединения к точке зрения Другого как подвид органически входит и сообщение о Новом: новом событии, новой точке зрения, собственной новой акции. Во-вторых, существенно понять, что этим Другим может быть и сам говорящий. Люблю хорошо заваренный чай! может утверждать человек, говоривший это много раз и еще раз в этой своей любви убедившийся. Поэтому А. Пушкин убежден в своей любви к Петербургу и повторяет это не раз: Люблю твой строгий, стройный вид… С. Есенин же понимает, что его любовь к дряхлой Москве может быть оспорена: хоть обрюзг он и одряб., но, споря с этим, он утверждает: Я люблю этот город вязевый…

Эта тенденция хорошо прослеживается и на самом простом бытовом уровне. – Ну, ты идешь? – Иду, иду, – подтверждает жена. Ср.: Ну, ты идешь? – Я иду.

Теперь можно снова обратиться и к партикулам, и к «скрытой памяти», эффектно подтверждающейся именно этой сохранившей архаику русской особенностью. Итак, я – это катафорическая комбинация партикул. Естественно, что эта объявленность себя, своей точки зрения и должна связываться с противопоставлением, с объявлением нового, началом текста, с несогласием. Легко представить себе, что официант говорил: Слушаю-с, а начальник: Я слушаю. Гораздо труднее ответить на вопрос о том, почему одни языки грамматикализовали обязательность местоимений при финитных глаголах, другие – грамматикализовали практическое отсутствие местоимений, а русский язык почему-то сохранил в неявном виде это тонкое семантическое различие.

На связь «скрытой памяти» и партикул можно привести еще несколько примеров. Так, в частности, А.И. Рыко исследовала дистрибуцию окончаний 3-го лица настоящего времени глагола в северо-западных русских говорах. В работе приводятся данные о том, что в 3-м лице глагола может быть на конце флексия t или f или этой флексии нет. На первый взгляд, здесь представлена именно свобода выбора варианта: у одних информантов чаще один вариант, а у других – другой. Количественные показатели, по ее данным, меняются даже от деревни к деревне. Однако, в соответствии с выдвинутым нами выше положением о статусе «скрытой памяти», намечается некая тенденция, которая все же пробивает дорогу к исследователю. Что же это за тенденция? Как пишет А.И. Рыко, «применительно ко всем этим системам можно говорить о противопоставлении актуальных и неактуальных значений презенса, причем актуальные значения характеризуются преимущественным употреблением флексии – t, а неактуальные – преимущественным употреблением флексии - 0».

Более подробно о «прилипании» партикул к знаменательным корнесловам и создании глагольных и именных парадигм с партикульной помощью будет говориться в главе второй настоящей книги, но сейчас можно только сказать по этому поводу, что эти северо-западные говоры «помнят» о том, что добавление партикулы с опорным консонантом – t, то есть с сильной семой определенности «здесь и сейчас», создает именно значение актуальности, а нулевая флексия не создает этой дейктической привязки. В других говорах и в литературном языке прошла грамматикализация окончаний с обязательным добавлением консонанта или с «недобавлением», а анализируемые северо-западные говоры остались в архаической середине.

Как будет говориться в главе второй, партикулы могли и могут «прилипать» не только справа от знаменательной основы, но и слева. Так, в работе приводится пример того, что в формах греческого глагола инициальным компонентом является аугмент s-,\* который в настоящее время преподается студентам как чисто грамматический формант-показатель категории. Однако Вяч. Вс. Иванов, вслед за К. Уоткинсом, предлагает отождествить этот формант с начальной частицей \*е/о. Вяч. Вс. Иванов разбирает подобные начальные комплексы в индоевропейских языках и, широко привлекая славянский материал, показывает соответствие этого «аугмента» начальному э- в русском э-mom, э-та. Таким образом, партикула э в данном случае «помнит» свое инициальное ударение, но и аорист как действие яркое, мгновенное и, скорее, сиюминутное, «помнит» именно эту актуальную «здешнесть».

Представляя нашу концепцию «скрытой памяти», мы обращались к идее В.Н. Топорова о том, что \*men- в косвенных формах местоимения первого лица соотносится со знаменательным корнем \*men-5 обозначающим некую тонкую духовную субстанцию. Это подводит нас, в свою очередь, к самой трудной проблеме: связи партикул и знаменательных слов, к проблеме того, могут ли они «перетекать» из одного класса в другой. Некоторые современные решения при этом довольно просты. Например, наречие здесь легко разлагается на исходный комплекс партикул: сь + де+ сь. Но это наречие есть также дейктическое слово.

Возможны и такие случаи, когда и имя собственное на самом деле реконструируется как дейктико-анафорический комплекс. Интересный пример подобной ситуации приводит Т.А. Михайлова. Так, в древнеирландской нарративной традиции часто фигурирует женский персонаж, обозначенный в тексте как Этайн и обычно исполняющий функции супруги правителя, наделенной рядом признаков, демонстрирующих связь с потусторонним миром. Однако, даже если рассматривать этот персонаж как чисто мифологический, становится очевидно, что составить «биографию» женщины-Этайн невозможно, т.к. в разных текстах она может фигурировать с разными патронимами и выступать в роли жены разных королей, кроме того, зачав, она обычно производит на свет девочку, с которой они «похожи как две капли воды» и которую тоже зовут Этайн. Принципиальная размытость «биографической парадигмы» этого образа не дает также возможности предположить существование нескольких персонажей, носящих одно и то же имя. Аналогичная картина наблюдается с персонажами по имени Этне, которые очень многочисленны,

Т.А. Михайлова, подробно анализируя разные тексты с этими «странными» именами, приходит к выводу, что они развились из сложения двух дейктических основ с семантикой «этот, оный» и проч. Именование Этне / Этайн, таким образом, означает буквально «та-вот-та», «вот-та».

Исследование подобных ситуаций только начинается.